



Детство в 90-х

Сковрцов Алексей

Алексей Скворцов

Детство в 90-ых

«Автор»

2026

Скворцов А.

Детство в 90-ых / А. Скворцов — «Автор», 2026

Девяносто четвёртый год. Пустой холодильник, очередь за хлебом в шесть утра, маргарин с сахаром вместо деликатеса. Отец ушёл. Мать работает сутками — санитаркой в больнице. Друг Витька приходит с синяками и просит поесть. Девочка в синем пальто улыбается на перемене. Пашка пытается выжить и спасти друга. Но друга нельзя спасти — это он поймёт позже. А пока — делит «Сникерс» на пятерых, врёт про цыган, обжигает палец зажигалкой, чтобы почувствовать, что живой. Это роман о поколении, которое не сломалось. Оно закалилось. Как железо. Как сталь. И о мотоцикле, который он заводит сам. Это роман о том, как мальчик становится собой. Через голод. Через драки. Через первую любовь. Через «не лезь». Для тех, кто помнит. И для тех, кто хочет понять.

© Скворцов А., 2026

© Автор, 2026

Алексей Скворцов

Детство в 90-ых

ПРОЛОГ. Хлеб в шесть утра

Мать разбудила меня в темноте. Не словами — просто включила свет в коридоре, и полоса легла на стену, на кровать, мне на лицо. Я лежал и смотрел, как в этой полосе медленно оседает пыль.

— Паша. Хлеб.

Я встал. Штаны за ночь стали жёсткие, как жёсть. Свитер кололся даже через майку. Куртка — не моя, отцова, из кожзама, с потёртыми локтями и молнией, которая заедала на середине. Я придерживал её рукой.

На кухне горел свет. Отец сидел за столом. Перед ним стояла сумка — та самая, с которой он уходил «на заработки», коричневая, с металлическими застёжками. Он не смотрел на меня. Он смотрел в окно, в темноту, и курил.

Зажигалка лежала на клеёнке. Красная, прозрачная, «Cricket». Внутри было видно газ — он плескался под стеклом, как вода. Я смотрел на неё, пока отец не заметил.

— Чего уставился?

— Ничего.

Он взял зажигалку, щёлкнул. Огонёк вспыхнул и погас. Ещё раз. Ещё.

— Держи.

Он бросил её мне через стол. Я поймал. Она была тёплая. Как будто он только что держал её в кулаке.

— Смотри в глаза, когда врёшь, — сказал он. — Тогда поверят.

— Я не вру.

— Все врут, Пашка. Главное — смотреть в глаза.

Мать стояла у плиты. Спиной. Она не обернулась ни когда он говорил, ни когда он встал, ни когда взял сумку. Только плечи у неё были подняты — высоко, до ушей, как будто ей было холодно.

Отец подошёл к двери. Надел шапку. Потом обернулся. Не ко мне — к ней.

— Ну, я пошёл.

Она не ответила.

— Слышишь? Я пошёл.

— Слышу.

Он постоял ещё секунду. Может, две. Потом открыл дверь и вышел. Дверь закрылась — тихо, без хлопка. Он всегда закрывал тихо, чтобы соседи не слышали.

Я сидел на табуретке и держал в руке зажигалку. Она уже остыла.

— Ешь, — сказала мать.

Она поставила передо мной тарелку. В тарелке был хлеб — вчерашний, чёрствый, нарезанный тонко. И чай. Без сахара.

— Я не хочу.

— Ешь. Тебе идти.

Я съел. Хлеб был сухой, как бумага. Чай — просто горячая вода. Я жевал и смотрел на зажигалку, которая лежала рядом с тарелкой, и думал о том, что она — теперь моя. Что он оставил её мне. Может, специально. Может, забыл.

— Мам.

— Что.

— Он вернётся?

Она мыла чашку. Долго мыла, хотя чашка была чистая.

— Иди. Очередь займёшь.

Я не стал спрашивать второй раз. Я знал это её «иди». Оно значило: не сейчас. Может, никогда.

Я оделся. Зажигалку положил в карман — глубоко, чтобы не выпала. Молнию на куртке придержал рукой. И вышел.

На улице было ещё темно. Фонари горели через один, и те, что горели, мигали. Снег лежал серый, вчерашний. Я шёл по улице, где не было ни одной машины, кроме «Москвича» на кирпичах, и слушал свои шаги. Только шаги. Только ветер. Только дыхание.

У булочной уже стояли. Всегда стояли. Даже если приходишь в шесть — ты не первый.

Я встал в хвост. Спросил:

— Кто последний?

— Я, — сказала тётка в красном платке, не оборачиваясь. — За мной будешь.

И всё. Дальше можно было молчать.

Очередь стояла тихо. Как лошади в стойле. Люди смотрели в одну точку — на дверь, за которой должен появиться хлеб. Тётки в пуховых платках. Мужики в кепках. Старухи с палочками. Никто не разговаривал. Только иногда кто-то переступал с ноги на ногу, и снег под ним скрипел.

Я стоял и думал про зажигалку. Про то, как отец щёлкал ею. Раз. Два. Три. Как огонёк вспыхивал и гас, и в этом коротком свете было видно его лицо — не такое, как всегда. Другое. Как будто он сам не знал, куда идёт.

Хлеб привезли в восемь. Фургон, грязный, с надписью, которую нельзя было прочесть. Очередь ожила. Все выпрямились. Все подтянули сумки. Все начали считать: сколько там? Хватит? Не хватит?

Хватило.

Я взял три буханки — чёрный, серый, белый. Отдал деньги. Пошёл домой. Прижимал хлеб к груди, к куртке, к тому месту, где под ней билось сердце. Хлеб был тёплый. Ещё горячий. Через кожзам я чувствовал его — как живое.

Я нёс его и думал: я добыл. Принёс. Спас.

Дома мать сидела на кухне. Та же чашка. Тот же свет. Она не обернулась, когда я вошёл. Только спросила:

— Сколько?

— Три.

— Хорошо. Молодец.

Я положил хлеб на стол. Она отрезала кусок — мне. Один — брату. Один — сестре. Один — себе. Остальное завернула в полотенце и убрала в шкаф.

— Мам.

— Что.

— Зажигалка. Он оставил.

Она посмотрела на неё. Долго. Потом взяла, покрутила в руках, положила обратно.

— Убери.

— Куда?

— Куда хочешь. Только чтоб я не видела.

Я убрал её в карман. И вышел во двор.

Во дворе был пацан. Я его раньше не видел. Он сидел на корточках у забора и что-то делал — я не сразу понял что. Потом понял: он ел снег. Брал горсть, лепил шарик и ел. Медленно, как будто это было что-то вкусное.

Он поднял голову. Посмотрел на меня. Я — на него.

— Ты чё, снег ешь? — сказал я.

— А ты чё, хлеб нюхаешь?

Я посмотрел на свои руки. Я действительно держал хлеб — тот кусок, что дала мать, — и держал его у лица. Не помню, как это вышло.

— Это хлеб, — сказал я.

— Вижу.

— Хочешь?

Он встал. Отряхнул колени. Подошёл.

— Витька, — сказал он.

— Пашка.

Он взял хлеб. Откусил. Прожевал. Проглотил. И ничего не сказал. Просто кивнул. И мы пошли — я не знаю куда. Просто пошли. Вдоль забора, мимо гаражей, мимо людей с авоськами, мимо всей этой жизни, которая шла куда-то без нас.

Зажигалка лежала в кармане. Тёплая. Как будто её только что держали в кулаке.

ГЛАВА 1. Пустой холодильник

Мать уходила на сутки — я понял это ещё вечером, когда она достала из шкафа белый халат и повесила его на спинку стула. Халат пах хлоркой. Этот запах никуда не уходил, даже когда она уходила. Оставался в квартире, в воздухе, в моей подушке.

Отец ушёл в декабре. Стоял февраль.

Она работала в больнице, санитаркой. Сутки через сутки. Иногда — двое через двое. Я не знал, что она там делала. Знал только, что приходила она всегда одинаково — молча, с сумками, с авоськой, из которой торчала свёкла. Авоська — это сетка. Она висела на гвозде в прихожей и растягивалась, как гармошка. Когда в неё что-то клали, она становилась тяжёлой и была по ногам.

Мать собиралась в темноте, не включая света. Я лежал и смотрел через открытую дверь, как она двигается — быстро, уверенно, как человек, который делает это тысячу раз. Халат. Сумка. Термос. Бутерброд с маргарином — она заворачивала его в бумагу, аккуратно, как будто это было что-то ценное. Может, и было.

— Паша.

Я не отозвался. Я знал, что она скажет дальше.

— В холодильнике борщ. Разогреете.

Она сказала это, не глядя на меня. Смотрела на сумку, дёргала молнию. Молния заедала, и звук был резкий, как будто рвали бумагу.

Я знал, что борща нет. Она знала, что я знаю. Но она всё равно сказала.

— Слышишь?

— Слышу.

— Брата накорми. Сестру накорми. Не открывай никому. Не выходи никуда. Я вернусь утром.

Она поцеловала меня в лоб. Губы у неё были сухие и холодные, как бумага. Потом вышла. Дверь закрылась тихо, без хлопка — как учил отец.

Я лежал ещё минуту. Две. Слушал, как её шаги уходят вниз по лестнице. Как они становятся тише. Как затихают совсем. И тогда я встал.

На кухне было холодно. Батарея ещё не нагрелась, пол был как лёд — я почувствовал это босыми ногами, и по спине прошла дрожь. Я прошлёпал к холодильнику. Белый, с облупившейся эмалью, с ручкой, которую надо было дёргать с силой. Я дёрнул. Он скрипнул — резко, металлически, как будто сопротивлялся. Как будто знал, что внутри пусто. Как будто стыдился.

Внутри было пусто.

Полка для яиц, на которой никогда не было яиц. Морозилка с пакетом льда — серого, мутного, с замороженными крошками хлеба. И запах. Кисловатый. Как будто холодильник помнил, что когда-то в нём была еда. И тосковал по ней. Как старик, который помнит молодость, но не может её вернуть.

На нижней полке — три яйца. Маленькие, коричневые, с пятнами. Три. На троих. По одному.

Рядом — полпачки маргарина «Пышка» в фольге. Серо-жёлтый, с привкусом мыла. И банка майонеза, недоеденная до половины. Литровая, стеклянная, с засохшими жёлтыми потёками на горлышке. Я провёл пальцем по потёку. Липко.

Хлеб лежал в шкафу, завёрнутый в полотенце. Оставался один кусок. Брат доел остальное, пока я спал.

Я закрыл холодильник. Он вздохнул — протяжно, с облегчением.

Я выглянул в окно.

Во дворе сидел мальчик. На качелях без цепей — просто на перекладине, свесив ноги. Он был в серой куртке, по размеру, скучной. Он ничего не делал. Просто сидел и смотрел в землю. Тот самый мальчик. Который ел снег. Я узнал его по куртке.

Я отошёл от окна. Вернулся к плите.

В комнате бормотал телевизор. Сестра сидела на диване — старом, с продавленными пружинами, с обивкой, которая когда-то была зелёной, а теперь стала серо-бурой. В углу — дырка, из которой торчал поролон. Сестра сидела, поджав ноги, и смотрела.

По первой программе шла «Санта-Барбара». Сериал про богатых американцев. Сто серий. Или тысяча. Я не считал. Там были красивые дома, красивые машины, красивые люди. Они говорили о любви, о деньгах, о предательстве. У них не было пустых холодильников. У них не было очередей. У них не было страха.

— Паш.

— Что.

— Мама ушла?

— Ушла.

Она кивнула. Не обернулась.

— Паш.

— Что.

— Ты знаешь, что у них на ужин?

— Что?

— Я не знаю. Но что-то вкусное. Смотри, какие у них тарелки. Фарфоровые.

Я посмотрел. Тарелки были белые, с золотым ободком. На них лежало что-то, что я не мог разобрать.

— Паш.

— Что.

— Я есть хочу.

Я пошёл на кухню.

Брат сидел за столом. Ему было шесть. Он ещё верил, что взрослые всегда говорят правду. Он ещё верил, что если мама сказала «борщ», значит, борщ есть. Он смотрел на меня и ждал. Глаза у него были круглые, как у щенка, который не понимает, почему миска пустая.

— Ну что, — сказал я. — Будем готовить.

— А что?

— Макароны.

— А борщ?

— Борщ потом. Сначала макароны.

Он кивнул. Поверил.

Я открыл шкаф. Нашёл пачку макарон — длинных, жёлтых, шершавых. Открыл. Понюхал. Пахло пылью. Пылью и чем-то ещё — сухим, старым. Но это были макароны. Настоящие. Из магазина.

Я взял кастрюлю — большую, алюминиевую, с погнутой крышкой. Налил воду. Поставил на плиту. Зажёг газ.

Спички кончились после второй попытки. Они были сырые — отсырели в коробке, головки крошились под пальцами. Я чиркал, и они ломались. Я чувствовал, как во мне поднимается злость — на спички, на коробок, на весь мир.

Тогда я вспомнил про зажигалку.

Она лежала в кармане куртки. Я достал. Красная, прозрачная. Внутри плескался газ — я видел его через стекло, как воду. Я щёлкнул. Огонёк вспыхнул. Я поднёс его к горелке, и газ загорелся — синим, ровным, спокойным.

Я стоял и смотрел на огонь. На то, как он держится. Как не гаснет.

Я убрал её в карман. Ближе к телу. Чтобы не потерять. Чтобы чувствовать.

Вода закипела. Я бросил туда макароны — горсть, две, три. Потом ещё. Потом всю пачку. Вода забурилась сильнее, поднялась, чуть не выплеснулась через край.

Я помешал ложкой. Ложка была деревянная, с обгрызенным краем — я грыз её, когда был маленький. Мама ругалась. Я всё равно грыз.

Потом я ушёл смотреть «Тома и Джерри».

Я не чувствовал запаха. Я вообще ничего не чувствовал, пока из кухни не повалил дым.

Густой. Серый. Едкий.

Он выползал в коридор, как в кино про войну. Я закашлялся. Глаза щипало — резко, до слёз. Дым был горячий. Я чувствовал его на лице, как будто кто-то дышал мне в щёку.

— Пашка! — заорала сестра из комнаты. — Ты чё там, пожар устроил?!

Я прибежал на кухню.

Дым стоял стеной. Я разгонял его руками, но он не уходил. Он висел в воздухе, плотный, как вата. Кастрюля была чёрной. Не снаружи — внутри. Макароны превратились в единое целое, в чёрную субстанцию, которая прилипла ко дну и не собиралась отлипнуть. Она ещё шипела. Ещё дышала.

Я попробовал её отковырять ложкой. Ложка погнулась.

Тогда я взял нож. Нож не помог. Нож только поцарапал дно.

Тогда я сделал единственное, что пришло в голову.

Я вынес кастрюлю на улицу.

На дворе было пусто. Только качели без цепей, турник и песочница. Старая, с деревянными бортами, с красным ведёрком, забытым кем-то. Я знал это ведёрко. Оно стояло здесь всё лето. Никто его не брал.

Мальчик на качелях всё ещё сидел. Он посмотрел на меня. Я — на него. Никто не сказал ни слова. Он отвернулся. Я — тоже.

Я подошёл к песочнице. Опустился на колени. Начал копать.

Земля была холодная. Сырая. Я копал руками, ногтями, пока не почувствовал, что достаточно. Под ногтями забились грязь. Пальцы онемели. Потом положил кастрюлю в яму. Закопал. Сверху поставил красное ведёрко. Рядом лежал чей-то потерянный совок — пластмассовый, синий, с треснувшей ручкой. Я накрыл им место, где копал.

Потом вернулся домой.

Открыл окна. Проветрил. Сел на диван.

Сестра смотрела на меня. Молча. Она не спрашивала, где кастрюля. Она уже знала, что спрашивать бесполезно. Она просто смотрела — и в её глазах было что-то, чего я не хотел видеть.

Брат сидел рядом и жевал хлеб. Просто хлеб. Без ничего. Он жевал медленно, как будто это было что-то вкусное.

Я стал ждать.

Мама пришла вечером.

Я услышал её шаги на лестнице — тяжёлые, медленные. Она всегда так ходила после смены. Как будто каждая ступенька была последней.

Дверь открылась. Она вошла. Уставшая. С сумками. С авоськой, из которой торчала свёкла. Авоська растянулась и била её по ногам. Пальто на ней было мокрое — шёл дождь. Капли стекали с рукавов на пол. Она не вытирала.

Она сняла сапоги. Поставила их у двери. Я увидел, что на правом сапоге — дырка. Маленькая, но заметная. Из неё выглядывал носок — серый, с заштопанной пяткой. Носок был мокрый.

Она не жаловалась. Никогда не жаловалась. Просто снимала сапоги.

Потом прошла на кухню. Поставила чайник. Маленький, эмалированный, с синей каёмкой. Он засвистел через минуту. Тонко, протяжно, как будто плакал.

— Паш.

— Что.

— А где большая кастрюля?

Я посмотрел ей в глаза. Честно. Прямо. Как учил папа: «Смотри в глаза, когда врёшь. Тогда поверят».

Папа знал, что говорил. Он часто врал. И всегда смотрел в глаза.

— Украли цыгане.

Мама вздохнула. Долго. Как будто из неё выходил воздух. Весь, до конца.

Она сняла пальто. Повесила на гвоздь — кривой, вбитый в стену ещё до нас. Поставила чайник на плиту. Он уже свистел.

— Опять, что ли?

— Ага.

— В прошлом месяце у Петровых из подъезда ковёр украли. Говорят, тоже цыгане.

— Они ходят по квартирам. Представляются сантехниками. А потом — раз! — и кастрюли нет.

— Сантехниками?

— Ну да. Или электриками. Они в форме приходят. С инструментами. Ты им дверь открываешь, а они — раз! — и всё.

Мама молчала. Смотрела в стену. Потом сказала:

— Ладно.

И всё.

Она не спросила, почему я не сказал сразу. Не спросила, как выглядели цыгане. Не спросила, почему они взяли только кастрюлю, а не телевизор.

Она просто поверила.

Я сидел на табуретке и смотрел, как мама пьёт чай. Она держала кружку двумя руками — как будто ей было холодно. Хотя в кухне было тепло. Пальцы у неё были красные, как у Витьки. Как будто она тоже мыла их в холодной воде.

— Мам.

— Что.

— А если они вернутся?

— Кто?

— Цыгане.

Она посмотрела на меня. Долго. Потом поставила кружку. Потом встала. Пошла в шкаф. Достала конфету — «Барбарис», обычный, в бумажке. Протянула мне.

— Ешь.

— Мам, я...

— Ешь. Я знаю, что это ты.

Я взял конфету. Развернул. Бумажка шуршала под пальцами. Положил в рот. Кислая. Маленькая. Сладкая.

Я жевал её медленно. Маленькими кусочками. И чувствовал, как что-то внутри меня ломается и складывается заново. Как будто кость срастается неправильно.

Я ел конфету. Мама смотрела в стену.

Вечером пришёл Витька.

Я сидел на кухне. Передо мной лежал хлеб — чёрный, вчерашний. Рядом — маргарин «Пышка» и банка сахара. Я намазывал маргарин на хлеб и посыпал сахаром. Получался слоёный пирог. Хлеб, жир, сладость.

Витька стоял в дверях. Смотрел.

— У вас поесть есть?

Одна фраза. Не больше. Он не сказал «здравствуй». Не сказал «можно». Просто спросил. И в его голосе не было просьбы. Было что-то другое. Как будто он уже знал ответ.

Я посмотрел на него. На его куртку — серую, по размеру, скучную. На его руки — красные, как будто он только что мыл их в холодной воде. На его глаза — которые видели слишком много для девяти лет.

Я знал, что у него мать пьёт. Я видел её один раз. У ларька. С сигаретой. Пьяная. Смеялась. Никого не узнавала.

— Садись, — сказал я.

Он сел. На табуретку. Напротив меня. И стал смотреть, как я намазываю маргарин. Молча.

— Это чё? — спросил он.

— Бутерброд.

— С чем?

— С маргарином и сахаром.

— Вкусно?

— Попробуй.

Я отрезал половину. Протянул ему. Он взял. Откусил. Прожевал. Проглотил. И ничего не сказал. Просто кивнул. И взял ещё.

Он ел медленно. Как будто боялся, что это последнее.

Мы сидели и ели. Молча. За одним столом. С одной банкой сахара. С одним маргарином.

За окном шёл дождь. Сестра в комнате смотрела «Санта-Барбару». Брат спал. Мама ушла на кухню — мыла чашку. Долго мыла, хотя чашка была чистая.

А мы ели.

Я смотрел на Витьку и думал: он голодный. Как я. Как мы все. И он пришёл сюда, потому что больше некуда. Потому что дома — пусто. Потому что мать пьёт. Потому что бабушка получает пенсию — маленькую, как крошка хлеба.

Я не знал тогда, что это — начало.

Я просто сидел и ел. И смотрел, как он ест. И чувствовал, как что-то в груди становится теплее. Как будто там что-то зажглось.

За окном шёл дождь.

А кастрюля лежала в песочнице. Под красным ведёрком. Рядом с чьим-то потерянным совком.

ГЛАВА 2. Талон

Прошла зима. Потом весна. Отец не вернулся. Мать работала. Я ходил в школу. Витька приходил почти каждый вечер. Иногда с хлебом. Иногда без. Но всегда голодный.

Утром мать разбудила меня раньше обычного. За окном было ещё серо — не рассвет, а что-то похожее на него, мутное и вязкое. Она стояла в дверях кухни, в халате, с неприбранными волосами, и в руке у неё была бумажка.

— Паша. Встань.

Я встал. Она протянула мне талон — маленький, серый, с буквами и цифрами, которые ничего для меня не значили. И десятку. Мятую, тёплую от её пальцев.

— Водка, — сказала она. — Магазин на углу. Стоишь, никуда не уходишь.

— А ты?

— Я на смену. Не успею. Магазин до шести.

Я взял талон. Он был лёгкий, как пустой. Я посмотрел на него, потом на неё. Она не объяснила. Я не спросил. В нашем доме было слово «надо», и после него вопросы заканчивались.

— Это для тёти Вали, — сказала она вдруг. — Из регистратуры. Она помогает с лекарствами.

Я кивнул.

— Держи деньги крепко. В карман не клади. В кулаке держи.

— Держу.

Она кивнула. Отвернулась. Я стоял ещё секунду, смотрел на её спину — узкую, с острыми лопатками, которые проступали через халат, — и вышел.

Брат спал. Сестра смотрела телевизор. Я сказал ей, чтобы не открывали никому. Сестра взрослая. Ей девять. Она справится.

На улице было холодно. Не зимний холод, а весенний, промозглый, который пробирает до костей через любую одежду. Я шёл по улице и держал десятку в кулаке. Крепко. Как учила.

Магазин стоял на углу. Обычный, продуктовый, с вывеской, у которой отвалились буквы. Осталось что-то вроде «ГАСТР... М». Я не знал, что это значит. Может, «гастроном». Может, что-то другое.

Очередь стояла вдоль стены. Длинная, как жизнь. Я насчитал двадцать человек. Потом сбился. Может, тридцать. Может, больше. Люди стояли молча, как лошади в стойле. Смотрели в одну точку — на дверь.

Я встал в хвост. Спросил:

— Кто последний?

Мужик в телогрейке обернулся. Лицо у него было серое, как асфальт. Глаза — как у человека, который давно не спал.

— Я. За мной будешь.

И всё. Дальше можно было молчать.

Очередь стояла тихо. Только иногда кто-то переступал с ноги на ногу, и под ногами чавкала грязь. Тётка в красном платке сморкалась в платок — долго, тщательно. Мужик в кепке курил — одну за другой, тушил о подошву, бросал. Старуха с палочкой стояла, закрыв глаза. Может, спала. Может, думала.

Я стоял.

Первый час прошёл быстро. Я считал трещины в асфальте. Их было много — длинных, коротких, пересекающихся. Я придумывал, откуда они взялись. Может, от мороза. Может, от машин. Может, от времени.

Второй час был длиннее. Ноги затекли. Спина заболела — в одном месте, между лопатками, как будто туда воткнули гвоздь. Я переступал с ноги на ногу, но это не помогало. Я захотел пить. Потом есть. Потом спать. Потом снова пить.

Рядом со мной стоял пацан. Мой ровесник. Может, на год старше. Он присел на корточки — просто сел, прямо на мокрый асфальт, — и закрыл глаза. Через минуту он спал. Я смотрел на него и думал: как можно спать здесь? На холоде? В очереди? Потом пришла его мать — тётка с усталым лицом, в пальто, которое было ей велико. Она трясла его за плечо.

— Вставай. Вставай, я сказала. Нельзя спать. Простудишься.

Он встал. Медленно. Как старик. И снова закрыл глаза. Стоя.

На третьем часу очередь ожила. Дверь открылась, и кто-то вышел — с бутылкой в авоське, с лицом, как будто выиграл в лотерею. Очередь подалась вперёд. Все выпрямились. Все начали считать: сколько там? Хватит? Не хватит?

Мужик в телогрейке обернулся.

— Ты чей?

— Мамин.

— А мать кто?

— Санитарка. В больнице.

Он кивнул. Помолчал. Потом сказал:

— Отца нет?

Я не ответил.

— Понятно, — сказал он. И отвернулся.

Когда подошла моя очередь, водка закончилась.

Продавщица — тётка с начёсом и глазами, которые видели слишком много, чтобы быть добрыми, — сказала просто:

— Всё. Нету.

— Как нету? — сказал я. Голос у меня сорвался.

— Кончилась. Приходи завтра.

Я стоял. Не уходил. Я думал, что если я постою ещё немного, то что-то изменится. Что водка появится. Что произойдёт чудо.

Чуда не произошло.

Мужик в телогрейке — тот, что стоял позади меня, — сказал:

— Ходи, пацан. Нету.

И я пошёл.

Домой я шёл медленно. Дождь всё-таки начался — мелкий, противный. Я не прятался. Десятка была в кулаке. Талона не было — я отдал его продавщице, и она его куда-то дела. Просто взяла и положила. Как бумажку.

Я шёл и думал: что я скажу матери?

Дома мать сидела на кухне. Перед ней стояла чашка — пустая, с коричневым следом на дне. Она не пила. Просто сидела.

Я вошёл. Она обернулась.

— Ну?

Я молчал.

— Где водка?

— Нету.

Она встала. Медленно.

— Как — нету?

— Кончилась. Я стоял. Три часа. Подошла очередь — всё. Нету.

Она смотрела на меня. Долго. Я видел, как что-то в её лице меняется. Как усталость сменяется чем-то другим.

— Три часа?

— Три часа.

— И ты не мог... — она замолчала. Сжала губы. У неё побелели костяшки пальцев.

— Я стоял, — сказал я. — Я не уходил. Я стоял.

— Стоял?! — она закричала. Не словами — звуком. Что-то бессвязное, как будто внутри неё что-то лопнуло. — Стоял?! А толку?! Толку от того, что ты стоял?!

Я не ответил. Я просто смотрел на неё.

— Ты понимаешь, что это был за талон?! — она шагнула ко мне. — Понимаешь?! Это был последний! Последний талон! Я его месяц ждала! Месяц!

Она замахнулась. Я увидел её руку в воздухе — открытую ладонь, красную, с короткими пальцами. Я не отступил. Не закрылся. Я смотрел ей в глаза — как учил отец. «Смотри в глаза, когда врёшь. Тогда поверят». Я не врал. Я просто смотрел.

И она ударила.

Пощёчина была не сильная. Но достаточно, чтобы у меня зазвенело в ухе. Я почувствовал, как горит щека. Я потрогал её рукой. Она горела. Как будто к ней приложили горячее. В ухе звенело. Тонко, как комар.

Я стоял. Не плакал. Не отступал. Смотрел.

И она увидела этот взгляд.

Я видел, как что-то в ней ломается. Как злость уходит. Как остаётся что-то другое — страх. Не того, что она ударила. А того, что я смотрю на неё, как отец.

Она отступила. Отвернулась. Пошла к шкафу. Открыла. Долго искала. Достала конфету — «Барбарис», обычный, в бумажке. Протянула мне.

— Ешь.

Я не взял.

— Ешь. Ты стоял. Ты не виноват.

Я взял конфету. Развернул. Бумажка шуршала под пальцами. Положил в рот. Кислая. Маленькая. Сладкая.

Я жевал её медленно. И чувствовал, как щека горит. И как что-то внутри меня ломается и складывается заново.

Мать села на табуретку. Спина ко мне. Я смотрел на её спину — узкую, с острыми лопатками. Она смотрела на свои руки. Долго. На пальцы. На ту руку, которой ударила. Как будто не узнавала её.

Я доел конфету. Вышел из кухни. Сел на диван. Сестра смотрела «Санта-Барбару». Брат спал. Я сидел и смотрел в телевизор — на красивых людей в красивых домах — и не видел ничего.

Вечером пришёл Витька.

Он не стучал. Просто открыл дверь и вошёл.

Я сидел на кухне. Передо мной лежал хлеб — чёрный, вчерашний. Я не ел. Просто сидел. Витька вошёл и остановился в дверях. Я поднял голову. И увидел.

Синяк. На скуле. Свежий — сине-жёлтый, с фиолетовым по краям. Большой.

Он не прятал его. Но и не показывал. Просто стоял.

— Есть чё?

Я смотрел на синяк. Долго. Потом на его глаза. Потом снова на синяк.

— Садись, — сказал я.

Он сел. Взял хлеб. Откусил. Прожевал. Проглотил. Не сказал ни слова. Я смотрел на его руки. На костяшки. Красные. Содранные.

— Вить.

— Что.

— Кто это?

Он не ответил. Просто жевал. Смотрел в стол.

— Вить.

— Никто.

— Это мать?

Он поднял голову. Посмотрел на меня. Долго. В его глазах было что-то такое, что я не видел раньше. Что-то, что было старше его девяти лет.

— Никто, — сказал он. — Ешь давай.

Я доел. Встал. Убрал хлеб в шкаф. Завернул в полотенце.

— Пошли, — сказал я.

— Куда?

— Провожу.

Он посмотрел на меня. Удивился. Я никогда его не провожал.

— Не надо.

— Пошли.

Он не спорил. Встал. Мы вышли.

На улице было темно. Фонари горели через один. Мы шли через двор. Мимо качелей без цепей. Мимо песочницы, где под красным ведёрком лежала кастрюля. Мимо гаражей — серых, приземистых.

Витька шёл молча. Я — тоже.

Его дом был через два двора. Панельная девятиэтажка, такая же, как наша, только грязнее. Подъезд — с облупленной краской, с запахом кошки и жареной картошки.

Мы остановились у подъезда. Витька взялся за ручку двери. И тут я поднял голову.

На четвёртом этаже горело окно. Кухонное. И в этом окне стояла женщина. Худая. В халате. С сигаретой. Она смотрела вниз. На нас. На Витьку.

Я узнал её. Видел раньше — во дворе, у ларька. Она всегда была пьяная. Всегда с сигаретой. Всегда одна.

Витька тоже поднял голову. Посмотрел на неё. Она не помахала. Не улыбнулась. Не открыла окно. Просто стояла и курила. Смотрела на него. Как на чужого. Как на кого-то, кого она не знает.

Витька отвёл взгляд. Посмотрел на меня.

— Ну, я пошёл, — сказал он.

— Ага.

Он открыл дверь. Шагнул в подъезд. Дверь закрылась за ним — тяжёлая, железная, с грохотом.

Я остался на улице. Один. Смотрел на окно. Женщина докурила. Бросила окурок вниз. Он упал на асфальт, покатился и погас. Она отошла от окна. Свет в кухне погас.

Я стоял и смотрел на тёмное окно. Долго.

Я достал зажигалку. Красная, прозрачная. Я щёлкнул. Огонёк вспыхнул. Маленький. Живой. Я стоял и смотрел на него. На то, как он дрожит. Как не гаснет.

Я стоял с этим огоньком в темноте двора. И думал: я его не брошу. Я не знал, как это сделать. Не знал, что делать. Но я знал, что не брошу.

Огонёк погас. Я убрал зажигалку в карман. И пошёл домой.

ГЛАВА 3. Стройка и подвал

Мне было девять. Витьке — восемь. Мы перешли в третий класс, но лето ещё не кончилось, и двор был наш — весь, от качелей без цепей до песочницы, где под красным ведёрком гнила украденная кастрюля.

Мать работала. Я её почти не видел. Утром она уходила, вечером возвращалась. Иногда я засыпал до того, как она приходила.

Колька появился в конце мая. Он был старше — лет на три, может, на четыре. Уже курил. Уже носил кепку, которую никто не носил, потому что кепки вышли из моды ещё в прошлом году. Он приехал из другого района, но говорил так, словно всю жизнь прожил здесь.

Он подошёл к нам на лавочке. Не потому, что мы ему понравились. А потому, что увидел зажигалку в моей руке. Я крутил её, не замечая. Огонёк вспыхивал и гас. Вспыхивал и гас.

— Пацаны, — сказал он. — Чё сидим?

— Ничего, — сказал я. И убрал зажигалку в карман. Поздно.

— Пойдём на стройку.

— На какую?

— За гаражами. Девятиэтажка. Недострой.

Я знал эту стройку. Все знали. Но никто не ходил. Говорили, там пацан упал в прошлом году. Говорили, там крысы. Много.

— Там крысы, — сказал я.

— И чё?

— Ничего.

— Ты боишься?

— Не боюсь.

— Тогда пошли.

Рядом с Колькой стоял ещё один пацан. Тихий. Молчал. Смотрел на нас. Худой, с длинными руками, с лицом, которое никогда не улыбалось. Я его раньше не видел.

— Это Славка, — сказал Колька. — Он из третьего дома. Мы с ним с детства. Он с нами.

Славка не сказал «привет». Просто кивнул. Мы не были знакомы, но он кивнул так, словно знал нас давно.

— А Витька? — спросил я.

— Пусть идёт. Места всем хватит.

Я посмотрел на Витьку. Он сидел, ссутулившись, смотрел в землю. Синяк на скуле почти зажил — осталось жёлтое пятно, как от старой травы. Новых не было. Или я их не видел.

— Вить.

— Что.

— Пошли.

— Не хочу.

— Почему?

Он не ответил. Просто смотрел в землю. И я понял: он боится. Не стройки. Не крыс. Он боится, что там, на стройке, будет как дома. Что кто-то будет командовать. Что кто-то будет смеяться. Что он снова будет один.

Колька засмеялся. Громко. Слишком громко.

— Ты чё, боишься? — спросил он.

Витька поднял голову. Посмотрел на него. Так, как он умел — без злости, но с чем-то, что заставляло замолчать. Словно он видел Кольку насквозь. Словно знал что-то, чего Колька не знал.

— Не боюсь.

— Тогда пошли.

Витька встал. Медленно. Каждое движение было ему в тягость. Я видел, что он не хочет. Но он встал. Потому что если не пойти — это слабость. А слабость Витька не прощал. Ни себе, ни другим.

Мы пошли.

Дорога до стройки занимала минут десять. Через двор, через гаражи, через щель между двумя гаражами — узкую, тёмную, как нора. Колька пролез первым. Потом Славка. Потом я. Витька — последним.

За гаражами начиналось другое место. Не двор. Не улица. Что-то третье. Пустырь с вытопанной травой, с битым кирпичом, с мусором, который никто не убирал. И стройка.

Она была огромная. Девятиэтажка, недостроенная, с пустыми глазницами окон. Бетонные плиты торчали из стен, как рёбра. Арматура скручивалась в странные фигуры — кто-то пытался построить скульптуру, но бросил на полпути. Вокруг валялись кирпичи, доски, куски рубероида, мешки с цементом, которые уже превратились в камень.

Пахло мокрым бетоном. Цементом. И чем-то сладковатым — где-то гнило. Я не знал, что. Может, доски. Может, что-то ещё.

— Ну как? — спросил Колька, глядя на меня.

Я молчал. У меня внутри что-то сжалось. Словно я знал, что здесь что-то случится. Что-то, чего я не хотел.

— Клёво, — сказал Колька за меня.

Я не спорил.

Мы построили шалаш на третьем этаже — в комнате, где не было окон, только дыры в стенах. Из картона, палок и рубероида. Колька командовал. Славка молчал, но делал больше всех. Витька стоял в стороне. Я помогал.

— Этот угол выше, — говорил Колька. — Накрывай.

— Чем накрывать? — спросил я.

— Рубероидом. Чем же ещё.

— А если дождь?

— Не будет дождя. Лето.

— А если будет?

— Тогда промокнем. Зато у нас будет шалаш.

Мы накрыли. Получилось криво, косо, с дырками, через которые было видно небо. Но это был шалаш. Мы залезли внутрь — вчетвером, плечом к плечу, — и сидели там, и молчали. Я чувствовал локоть Витьки. Тёплый. Он не отодвигался.

Колька закурил. Протянул мне. Я взял. Закашлялся. Дым пошёл в нос, в горло, в лёгкие. Я думал, что умру. Колька засмеялся.

— Ничё, научишься.

Я не хотел учиться. Но взял ещё раз. Потому что если Колька даёт — надо брать. Иначе — слабость.

— А чё у тебя за зажигалка? — спросил он вдруг.

Я посмотрел на него. Потом на карман. Я не помнил, как достал её. Наверное, когда искал спички. Наверное, машинально.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.